

Стасов Владимир Васильевич

**Избранные сочинения: В 2
томах**

Том 2

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-1
ББК 84-5
В57

В57 **Владимир Васильевич С.**
Избранные сочинения: В 2 томах: Том 2 / Стасов Владимир Васильевич – М.:
Книга по Требованию, 2022. – 668 с.

ISBN 978-5-519-75351-7

ISBN 978-5-519-75351-7

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2022

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2022

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

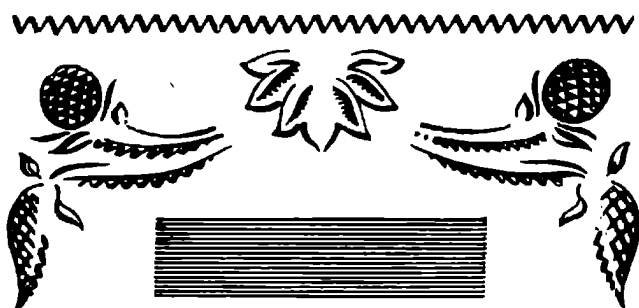
Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint



**РЕПИН
О
СТАСОВЕ**



МОЯ ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С НИМ



ОМНЮ, жил я тогда в Академическом переулке; в квартире по прямому коридору сдавалось несколько светлых комнат — на солнечную сторону. В одной из этих комнат жил Антокольский, еще две комнаты сдавались, а середину занимала хозяйка-немка. В ее гостиной собиралось к обеду несколько наших товарищей, между которыми постоянными посетителями были Г. И. Семирадский, П. О. Ковалевский, К. А. Савицкий и М. Н. Горшков. В этой самой квартире Антокольский вылепил потом свою «Инквизицию». Удалившись от нас в «затвор», он из всей своей комнаты сделал диораму с вылепленными фигурами. Скульптурная картина эта, освещенная фонарем, произвела на нас потрясающее впечатление. Не могу без сожаления вспомнить, что не позаботились снять с нее даже фотографии: она скоро развалилась (и должна была уничтожиться). Об этом эпизоде я писал Владимиру Васильевичу Стасову.

За товарищескими обедами довольно часто разговор заходил тогда о страшном критике Стасове, который бурно разносил нашу Академию художеств за ее классицизм и рутину.

К академии тогда мы привязанности не имели, но, изучая антики, по традиции всех академий, мы не могли еще отрицать академического метода, и нас лично вовсе не убеждали нападки на нее литераторов и дилетантов.

Однако, голос Стасова гремел новым национальным гро-

мом, в его доводах чувствовалась живая сила реализма, и свежие всходы нового в искусстве уже тяготели к его поведению, как к освежающей грозе и живому теплу.

Профессора академии называли Стасова атеистом Аполлона и грубым вандалом красоты. Прославляемое им впервые, как источник творчества, русское лубочное искусство они считали продуктом темного народа, забавой черни. А вообще народ, вчерашний раб, продававшийся еще так недавно, как скот на рынке, в то время не мог входить в серьезные размышления сановников от искусства.

Хотя Академия художеств с основания имела характер единственного демократического учреждения в России и большинство ее заслуженных профессоров вышло из темного (были примеры даже из крепостного) люда, но, вероятно, аристократизм профессии перевоспитывал их бесповоротно, до неузнаваемости.

Однажды Антокольский вошел ко мне в комнату и с серьезной таинственностью говорит:

— Знаешь, Илья, Стасов желает познакомиться с моими товарищами; просит меня позвать моих близких друзей и придет к нам сюда вечером. Что ты на это скажешь?

Я знал, что Антокольский со Стасовым уже знаком и был у него в Публичной библиотеке, что Стасов хвалил печатно Антокольского, но никак не ожидал, что Стасов пожелает познакомиться с нами.

— Неужели? Тот самый страшный Стасов? — удивился я. — Интересно взглянуть, — даже страшно делается.

— А кого позвать? — советуется Антокольский, — как ты думаешь?

— Да ближайших, обедающих здесь, — предлагаю я.

— Значит: Семирадского, Ковалевского, Савицкого?

— Не прибавить ли еще Горшкова?

В тот вечер мы собрались пораньше; чай условились пить в моей комнате, как ближайшей от входа.

Собравшиеся здесь наши товарищи представляли, как и все ученики тогдашней Академии художеств, полное разнообразие положений, состояний и воспитания.

М. М. Антокольский — еврей из Вильны, с малым самообразованием.

Г. И. Семирадский — поляк, окончивший Харьковский университет, сын генерала, получивший хорошее воспитание.

П. О. Ковалевский — русский, сын профессора Казанского университета, окончил казанскую гимназию.

Савицкий — литвин из Белостока, из пятого класса гимназии.

Горшков — купеческий сын из Ельца, домашнего воспитания.

Я — военный поселянин из Чугуева, самоучка.

Такова по составу учеников была и вся Академия художеств: в нее издавна, как на Запорожье, стекались ищущие свободы, стремились из всех краев любящие искусство. Испытание будущему художнику при поступлении в академию было так же несложно, как крестное знамение для приема в среду казачества беглому холопу Украины. От будущего художника требовалось нарисовать с гипсовой головы — антика. И это умение сразу давало право сидеть рядом с людьми высокого ранга, а впоследствии — верную надежду всякой, даже темной, личности выйти в люди.

У нас еще не так давно сословность играла важную роль в отношениях людей. И выслуга до избавления от телесного наказания продолжалась двенадцать лет — для унтер-офицеров (самых заслуженных солдат). Получался первый чин, и только тогда «ты» заменялось «вы» и протягивалась благородная рука для приветствия. И во всем гражданском быту был тот же строгий кастовый порядок.

Академия художеств в этом смысле пользовалась исключительными преимуществами. Здесь даже протекция не смела поднимать голову. Царил талант, кто бы он ни был: личный труд и способности открыто брали свое.

В середине 60-х годов академия, по сравнению с теперешней, была более свободной, более грязной, закоптелой, душной и тесной от разнородной толпы учащихся. В рисовальных классах номерованных мест не хватало, ученики сидели даже на поленьях, кое-как положенных у самого пьедестала натурщика.

Но поступать вольнослушателем (с платой 25 рублей) можно было всякий день в течение всего года (это никому не мешало).

По винтовой каменной лестнице (в левом углу, с 4-й линии)¹, темной и грязной, подымались в низкую со сводами

¹ Улицы на Васильевском острове, где находится Академия художеств, именуются линиями. — *Ред.*

антресоль (служившую нам шинельной), едва освещенную фотогеном, — с нишами и темными закоулками. Живописность камеры дополнялась разнообразием одежд и лиц, сновавших в разных направлениях.

Кого только тут не было!

И певучие хохлы в «киреях з видлогами», мелькали ба-
раньи шапки, звучал акцент юга. Были тут и щегольские
пальто богатых юношей, и нищенские отрѣпки бледных
меланхоликов, молчалиников, держащихся таинственно, в
темных нишах. Посредине, у лампы, слышен громкий лите-
ратурный спор, — студенческая речь льется свободно: это
студенты университета, рисующие по вечерам в Академии
художеств. По углам робкие новички, провинциалы, с не-
смелым щопотом и виноватым видом. А вот врываются
две изящные аристократические фигурки, звучат слад-
кие фразы французского языка, и разносится тонкий аромат
духов.

Необыкновенно приятна была эта свежесть озона в спер-
том воздухе гардеробной. В длинных академических кори-
дорах нестерпимо ел глаза острый запах миазмов от удобств
старого закала: коридоры еще не были разгорожены, как
теперь.

Во всех коридорах дуло со двора; кругом веяло холодом
и вонью.

Но прилежание к труду у учащихся художников было об-
разцовое.

У двери рисовального класса, еще за час до открытия,
стояла толпа безместных, приросши плечом к самой двери,
а следующие — к плечам товарищей, с поленьями подмыш-
ками, и терпеливо ждали.

Без пяти минут 5 часов дверь отворялась, и передняя
толпа врывалась в класс целым ураганом; с шумным гро-
хотом неслась она в атаку, через препятствия всех скамей
амфитеатра, вниз, к круглому пьедесталу под натурщика, и
закрепляла за собой места поленьями.

Усевшись на такой жесткой и низкой мебели, счастливы
ждали появления натурщика на пьедестале. Натурщик
тогда и в заводе не было. Эти низкие места назывались
«в плафоне» и пользовались у рисовальщиков особой симпа-
тией. Рисунки отсюда выходили сильными, пластичными, с
ясностью деталей.

Поленов очень любил плафон и всегда отдавал не имевшему места свой номер в бельэтаже для номеров первого десятка (которые он получал).

На скамьях амфитеатра полукругом перед натурщиком сидело более полтора человека в одном натурном классе.

Тишина была такая, что скрип полтора человека карандашей казался концертом кузнечиков, сверчков или оркестром малайских музыкантов. Становилось все душнее. Свет от массы ламп сверху, освещая воздух голубоватым дымом и сидевшие в оцепенении фигуры с быстро двигавшимися карандашами, становился все туманнее. Разнообразие стушевывалось общим тоном.

Рядом, плечом к плечу с лохматой головой юнца в коссоротке, сидел седенький генерал в погонах; дальше бородач во фраке (красавец-художник с эспаньолкой), потом студент университета, высокий морской офицер с окладистой бородой; повыше — целая партия светловолосых вятичей.

Полная дама — тогда еще большая редкость в Академии художеств. Большеголовые грузины, армяне, казачий офицер, чопорные немцы — с иголки, в стоячих воротничках, с прическами *à la Carouf*.

А вот и знаменитости натурального класса — все знают их имена: Максимов, Бобров, Дамберг. Максимов эффектно выделяется копной светлых вьющихся волос, как у ацтека. Дамберг — бесцветная личность; Бобров — губастый брюнет с чувственными глазами. Во время перерыва за их спиной стоит толпа жадных зрителей.

Максимов уже выставял картину на выставку, Дамберг рисовал одни контуры и получал первые номера, а Бобров эффектно освещал белым карандашом на тонной бумаге и французским карандашом с растушкой сильно тушевал фон и тени. Конопатка была уже брошена — рисунков домой не отпускали: вместо конопатки работала тряпка. По энергичной подготовке общих форм, полутоны сильно втирали тряпкой, тени усиливались французским карандашом, а блики вытирали резинкой; прием был твердо выработан. Но виртуозность и манерность вообще считались наклонностью к разврату в искусстве и порицались строго.

Профессора даже Микель-Анджело считали барочным.

Самые маститые ученики академии состояли в ней по старому уставу. Это значило, что они, платя 9 рублей в год, могли оставаться в ней до глубокой старости, не неся никакой научной повинности. Некоторые проработали уже по двенадцати лет и дошли только до гипсо-фигурного класса.

Истые завсегдатаи — большей частью народ бородатый, длинноволосый, с проседью и смелой русской речью; к искусству относились они по-родственному и выдающихся талантов считали феноменами, вне конкурса.

— Ну-к, что же! Ведь это, батенька мой, талант.

— Как же, из Харьковской — слышали, хлебная сторона — чего уж... у нас, брат, в Рязанской, вечный недород — далеко не уедешь...

Нас, поступивших по новому уставу 1859 года, обязанных посещать лекции по наукам и потому приходивших с тетрадками для записывания лекций, называли гимназистами и весело презирали; счета за номера по рисованию были только со своими, а эти кантонисты все равно рисовать не научатся, за двумя зайцами бегают, науки изучают — химии — смехи.

Мне нравился особенно Ефимов: огромного роста, бородатый, с веселыми чувственными глазами, он, не стесняясь, грубо острил в кучке своих, у дверей вечернего класса — товарищи покатывались со смеху. Между вольнослушателями было даже два круглых дурачка. Котовиков, например, даже говорить не умел и все свободное время играл в шашки с дворником под воротами. Друг его Иван Яковлевич (фамилии мы не знали) говорил только два слова: «Надо пливывать». Маленького роста, косопалый, угрюмый, с выпуклым лбом. Оба они очень привязались к Ковалевскому и писали даже лошадей в этюдном классе — грубо.

Профессоров ученики боялись как начальства и не знали как художников. Профессора совсем не интересовались учениками и избегали всякого общения с ними.

Добрее всех был немец Нефф. Как взлелеянный талант, он был самообольщен уверенностью, что все его боготворят. В вечернем классе он появлялся только торжественно и очень редко. Высоко неся голову, со звездой на груди, выхоленный, он величественно проходил по верхней площадке

над амфитеатром рисующих. Розовые щеки старичка горели от восхищения собой, опущенные глаза ничего не видели. Он кивал по-царски направо и налево, воображая, что по сторонам, шпалерами, ученики стоят в немом удивлении от знаменитого Неффа. А те, грязные, потные, смахивали уголь в это время с рисунков шейными шарфами, увлекаясь работой, а его совсем не замечали.

Изучение искусства в академии шло какой-то традиционной инерцией вековойной методы с Запада; середина учащихся хорошо постигала на экзаменах требования совета и благополучно получала установленные медали и знания. Простите за это длинное отвлечение в сторону.

Итак, мы сидели в ожидании страшного критика Стасова и тихонько разговаривали о нем.

Антокольский в качестве хозяина поправлял сервировку, укладывал покрасивее фрукты на тарелках и поминутно выходил на лестницу, чтобы встретить важного, дорогого гостя.

Иногда кто-нибудь из нас вспоминал громкую фразу из статьи Стасова об академии, и тогда Семирадский, выправляясь во весь высокий рост, начинал шагать по комнате, сверкая серыми выпуклыми глазами. Ковалевский с тайной иронией осторожного татарина умел ловко кольнуть товарища-классика в больное место и в виде вопроса, похвалив знаменитого журналиста, задеть Семирадского за живое.

Семирадский уже горел нетерпением сразиться с критиком: он был убежденный академист.

Наконец-то! Слышим — еще издали, на лестнице и по коридору, раздается громкий мужской голос, и в сопровождении Антокольского показалась громадная бородатая фигура сильного мужчины, с проседью, в черном сюртуке. Он должен был согнуться, чтобы заполнить собой пролет в мою комнату.

Вид его был очень внушительный и так же мажорен, как его статьи.

Поздоровавшись со всеми наскоро, Владимир Васильевич указал, указывая на Антокольского:

— Это вот кому я обязан, что сейчас стою здесь, среди вас. Надеюсь, вы хорошо все видели и знаете его статуэтку из дерева — «Еврея, вдевающего нитку в иголку». А? какова

вещица? Небольшая по размеру, но достаточна велика, чтобы увлечь всю новую скульптуру на настоящую, реальную дорогу.

— Дай бог, пора.

— Да, это небывалая вещь.

— И я бы очень хотел видеть побольше таких начинаний. Надеюсь, вы согласны в этом со мной?

С места в карьер с Семирадским они заспорили.

Когда Владимир Васильевич сказал, что эта скульптура Антокольского из дерева для него выше и дороже стоит всей классической фальши — антиков, Семирадский с напускным удивлением возразил, что он с этим никак согласиться не может, что уже в древности у греков были рапографы и что Диметриас, жанрист афинский, не так уже высоко ценился у тонких меценатов античного мира.

Владимир Васильевич сразу рассердился и начал безудержу поносить всех Юпитеров, Аполлонов и Юнон — чорт бы их всех побрал! — эту фальшь, эти выдумки, которых никогда в жизни не было.

Семирадский почувствовал себя на экзамене из любимого предмета, к которому он только что прекрасно подготовился.

— Я в первый раз слышу, — заговорил он с иронией, — что созданиям человеческого гения, который творит из области высшего мира — своей души, предпочитают обыденные явления повседневной жизни. Это значит, — творчеству вы предпочитаете копии с натуры — повседневной пошлости житейской?

— А! Вот как. Следовательно, вы ни во что ставите голландцев? А ведь эти дали нам живую историю своей жизни, своего народа, в чудеснейших созданиях кисти.

— Позвольте, — вставил быстро Семирадский. — Да, но ведь это все так мелко и посредственно в сравнении с великой эпохой классического искусства.

— Хо-хо! А Рембрандт, а Вандик, Франц Гальс! Метцю... Какое мастерство, какая жизнь!.. Ведь согласитесь, что, по сравнению с ними, антики Греции представляются какими-то кастрированными, в них не чувствуется ни малейшей правды — это все рутина и выдумки.

— Зато в них есть нечто, что выше правды, — горячился Семирадский. — Про всякое гениальное создание можно ска-